

Юзеф Игнацы Крашевский

Остап Бондарчук

I

Происшествие, здесь описываемое, случилось вскоре после губительного 1812 года, столь памятного в летописях мира и ознаменовавшего след свой и в нашем краю развалинами, пожарищами, могилами, не одной утраченной надеждой, не одной болезненной потерей. После общего изнеможения настала минута тишины и оцепенения, как бы преддверие новых бурь.

Войска нового Александра, нового Цезаря, поразив север в самое сердце, отступили назад: полузамерзшие, полуотчаянные, гонимые с оружием в руках волей завоевателя, они оставили после себя следы, подобные тем, какие остаются после бури или саранчи.

Повсюду виднелись пожарища, груды костей, могилы и развалины.

Большая часть края представляла собою грустную пустыню. Крестьяне бежали из своих жилищ, господа из своих замков: каждый спешил укрыться в городских стенах или в глуши лесов. Обгорелые деревни опустели, барские дома уныло стояли с выбитыми окнами, поля, носившие на себе

следы бивуака, оставались незасеянными.

Страшно опустошение войны! Лет через тысячу, когда люди будут жить согласнее и будут в состоянии оценить собственное свое достоинство, когда они поймут, наконец, что не всякий же спор должен вести к кулачному бою или к истреблению друг друга, — тогда битвы наших времен покажутся страшными сказками для наших внуков и правнуков. Всякий, кто будет читать описание кровавой борьбы целых народов против подобных же себе, скажет в душе: что за дикие варвары были отцы наши!

И по нашей Волыни тянулись отряды многочисленной наполеоновской армии, и в ней они оставили следы своего похода.

Взглянем на деревушку в долине, между двумя холмами. Один из них покрыт молодым дубовым лесом, другой окружен пашней, борозды которой уже заросли травой. Под ними расстилается зеленый луг, позолоченный цветущими одуванчиками. Возле речонки, разлившейся на несколько луж, важно прохаживаются красноногие аисты, летают чайки, жалобно оглашающие воздух своим пискливым криком, блуждают утки, отыскивая свое в тростнике скрытое гнездышко. С холма, против речки, спускаются крестьянские сады, засеянные коноплей, огороженные плетнем, оттененные

местами цветущей грушей или пошатнувшейся вербой. Но сады эти не обработаны, редко у которого поднят дерн, поваленные ульи поломаны и только там и сям валяются стебли кукурузы или брошенные кочаны капусты. По горе стоят хаты, каждая против своего огорода. Хата волынского крестьянина достойна внимания. Я нисколько не удивляюсь избе крестьянина лесного края, хорошо построенной из толстых бревен и покрытой тесом. Когда все под рукой, немного надо искусства, чтобы выстроить такую избу. Но на Волини, где часто у целого селения нет прутика леса, где так трудно добыть материал для постройки, крестьянская хижина так же достойна внимания, как мазанка в Бессарабской степи. Впрочем, в Бессарабию то морем, то Днестром подвозят еще иногда лес, к тому же большой недостаток тамошнего народа дает средство повсюду заменять дерево камнем. На Волини, Бог знает, из чего и как строится хата.

Несколько кривых дубовых или осиновых столбов подпирают ее по сторонам. Березовые или осиновые полусгнившие кривые балки служат подпорками крыши. О тесе и говорить нечего: он состоит из ободранных осиновых прутьев, безобразно прицепленных один к другому, так что, когда солома облежится, то вся крыша или подымается буграми, или образует ямы, через

которые дождь ручьями проходит в мазанку и ускоряет ее разрушение. Стены, подпертые бревнами, служат целой семье защитой от зимней непогоды и страшных вьюг. Внутри и снаружи хата ежегодно обмазывается и огораживается завалиной из земли и навоза. Над прорубленным маленьким окошечком висит кусок свернутой соломы. В таком виде хата существует многие годы, зато старость ее очень печальна.

Нескоро поселянин думает о новой хате. Для него это невозможно. Крыша развалится, порастет мхом, травой и житом. Стены уйдут в землю, так что и окно придется на завалинке, сруб разойдется вкось, а все зовут ее хатой, все живут в ней люди. Нередко и крыша слезет, стены вывалятся, но и это не беда, их подопрут и все-таки живут в них. Трудно выстроить жилье в безлесной стороне. Гумно огораживается из плетня и из экономии одной стороной примыкает к хате, хлев и сарай тоже прижаты к ней. Зато, когда искра попадет на крышу, нет спасения: все горит! Тут уж поневоле придется подумать о постройке нового жилья.

После двенадцатого года избранная нами деревенька представляла самую грустную картину. Несколько хижин были совершенно разобраны, торчали только оставленные столбы и развалившиеся черные печи. Плетни заборов лежали на земле, огороды покрыты были хворостом

и крапивой. Кое-где виднелись следы недавнего пожара. Истоптанная земля свидетельствовала о недавно стоявших тут лошадях. Груды костей валялись по дороге, вороны клевали остатки падали.

Гробовая тишина прерывалась только их карканьем. Крестьян возвратилось еще мало. Оттого редкая изба топилась и редко человеческая фигура показывалась на широкой улице, частью поросшей уже травой.

На конце селения был старый панский замок. Звали его замком потому, что тот, кто жил в нем, назывался графом. Это было желтое одноэтажное строение, с четырьмя колоннами спереди, с двумя флигелями по бокам, с решеткой, разделенной кирпичными столбами, и с высокими каменными воротами, украшенными двумя глиняными сосудами. После войны решетка была выломана, штукатурка со столбов осыпалась, и одна часть ворот обрушилась. Замок представлял не очень красивый вид.

В большей части окон не было стекол и даже рам: иные были затворены ставнями, иные забиты досками, а другие сделались приютом воробьев и ласточек. Один из флигелей служил, по-видимому, конюшней, в другом же одна половина была пустая, а другая занята управляющим.

В переднем фасаде замка, не знаю, каким

образом, пушечное ядро пробило дыру над самым стертым гербом владельца. Ласточки тут же прилепили себе гнездышко, разрушение послужило им в пользу.

Грустно было войти внутрь здания. Поврежденная крыша пропускала снег и дождь, грязные струи которых лили на выбитый и выломанный пол, на алебастровые статуи и на расписанные мозаикой стены.

Замок сам повествовал о своем бедствии. В сенях — простреленные стены, обвалившийся потолок, разбитые двери.

В комнатах были кучи пепла и угля, кресла и столы без ножек, вместо печей одни кирпичи. В столовой висело в беспорядке несколько фамильных портретов, разрубленных, ободранных и простреленных. Большой бильярд без сукна закрыт был соломой, к зеленому шнуру, на котором висел паук, привязана была веревка, служившая, вероятно, виселицей, под ней была черная запекшаяся лужа. Везде валялись кости, клочки бумаги, пыжи, обломки мебели и лохмотья одежды. Стены исписаны были разными неприличными словами.

В кабинете стояло разрубленное сабельными ударами фортепиано, а на полу валялись белые клавиши, разбитая арфа висела на кольце, пустые рамы картин затянуты были трудолюбивым пауком.

В библиотеке все шкафы были пусты, только несколько растрепанных книг валялось в беспорядке, и вырванные листы белели по углам.

Не уважили даже церкви, не пощадили святыни. А между тем люди, так зверски обращавшиеся с чужим добром, не были варварами, они пришли с образованного Запада, война сделала их дикарями. Солдат многое себе позволяет. Завтрашний день не принадлежит ему.

Церковный крест был рассечен на две части и пробит пулями, из алтаря были сделаны ясли.

В саду лучшие деревья были вывернуты, мосты срублены, беседки уничтожены, и кое-где из кустов выглядывали обломки каменных статуй: то голова без носа, то рука без пальцев. Садки покрыты были плесенью.

Во флигеле, почти заново отделанном, занимал две комнатки пан Мржозовский, возвратившийся к своей должности, как только все успокоилось и затихло, и оставивший в Луцке жену и детей.

Но он мог спокойно отдыхать, потому что некому и нечего было работать и не за чем было смотреть. Крестьяне, хотя и возвратились, но должны были опять уйти на заработки, потому что дома нечего было есть, нечего сеять, нечем пахать и неоткуда было взять ни хаты, ни косы, ни зерна, те, которые имели лошадь или вола, должны были

продать их, чтобы чем-нибудь кормиться. Обязанности пана Мржозовского ограничивались вздохами, взглядами, расспросами, курением трубки и прогулками по деревне. Озимые поля остались незасеянными, да и ярового тоже некому и нечем было засеять.

Аккуратно, всякий день, Мржозовский, закулив коротенькую трубку, отправлялся в барский замок.

Войдя в сени, он останавливался, смотрел, пожимал плечами, качал головой и, подвигаясь вперед, все рассматривал, над всем задумывался. Обойдя со вниманием весь замок, возвращался он в свои комнатки, садился на сундук и грелся у очага.

Ежедневные размышления управляющего продолжались иногда до позднего вечера.

После обеда, приготовленного бывшей некогда господской кухаркой, Мржозовский ходил по деревне, гулял по незасеянным полям, толковал с крестьянами, наделял их советами, ходил к арендатору Лейбе, содержавшему уже постоянный двор на большой дороге и, выпив стаканчик водки, возвращался домой. В праздничные дни он ездил к жене в Луцк, но на другой день рано был уже при своей должности.

Постоянно задавал себе пан Мржозовский один вопрос: как это злодеи ничего не пощадили и что скажет граф, когда приедет? Он писал графу, но

не получил ответа и предполагал, что письмо его не дошло.

Однажды утром, когда он уже окончил осмотр пустого замка и собирался уйти к себе, до него долетели звуки почтовой трубы, хлопанье бича и стук экипажа. По нему пробежала дрожь.

«Боже мой! Кто это едет?» — подумал он.

Труба звучала все громче.

— Да кто же это? — воскликнул Мржозовский и побежал как угорелый.

И точно, по щебню катилась громадная желтая дорожная карета, запряженная шестью лошадьми, за нею коляска, а за коляской бричка.

— Ведь это граф! С чего начать? — вскричал, с отчаянием ломая руки, управляющий.

Карета подъезжала уже к крыльцу.

Из окна кареты высунулась седая голова графа с румяным лицом, отвисшими щеками и серыми заспанными глазами.

Граф взглянул и вскрикнул.

Мржозовский стоял с жалкой миной, как вкопанный, держа шапку под мышкою.

— Что же это такое? — воскликнул граф.

Графиня высунулась, посмотрела, закрыла лицо руками и болезненно вскрикнула.

— Что же это? Развалины! — сказал владелец.

— Как все бывает после войны, — прошептал, кланяясь, управитель.

— Но такой ужас только у нас, нигде я ничего подобного не видал!

— По большой дороге, ясновельможный граф, всюду так.

— И так все?..

— Разорено, — сказал Мржозовский.

— А деревня?

— Как и все.

— А люди?

— Половины их нет.

— А поля?

— Не засеяны.

— Но ведь это развалины, страшные развалины!

— Развалины, ясновельможный пан.

— Какое несчастье!

— Подлинно несчастье! — повторил со вздохом Мржозовский.

— Что же ваша милость тут делала?

— А что же я мог делать против армии?

— Как что? Просить, хлопотать у генералов, у старших, жаловаться, наконец.

— Один немецкий генерал, напившись пьяным, приказал было меня повесить в большой зале, насилу офицеры отняли. Жену и детей я должен был скрыть в городе, а сам не без опасности оберегал или наблюдал за имуществом ясновельможного пана.

— Что же вы сберегли?

— Как что? Все, что видит ясновельможный граф.

— А хозяйство?

— Не имею чем пахать, что пахать и что сеять.

— И в самом деле, ничего не посеяно?

— Не посеяно, ясновельможный пан, но Лейба обещает.

— Но что же нам делать? — сказала графиня. — Дом в развалинах, пустой, людей нет, здесь нельзя жить.

Граф потер себе лоб. Мржозовский стоял молча.

— Где, ваша милость, живете? — спросил граф.

— В двух комнатках, во флигеле.

— Ехать к флигелю!

Экипажи двинулись к флигелям. Тут граф, графиня, маленькая дочь их Мизя, нянюшки и слуги — все вышли. Разрушение произвело на всех сильное впечатление: все шептались вполголоса, оглядывались со страхом, а некоторые побежали опять в замок.

Ясновельможные граф и графиня пошли тоже взглянуть на барский дом.

Сурово и грустно прошел граф по комнатам. Жена его плакала, повиснув на его плече,

ежеминутно останавливалась и ломала себе руки при виде своей любимой мебели — совершенно изломанной, своих комнат — обезображенных. Люди, следовавшие за господами, молча показывали друг другу то пули, то части обломков, то куски разорванных тканей. Мржозовский шел сзади, потупив голову.

Из дома граф направил шаги свои к балкону, ведущему в сад. Тут Мржозовский как будто чего-то испугался.

По сломанным ступенькам сошли они на луг, потом повернули направо по аллее. Управитель следовал за ними, люди тоже, Мржозовский только кряхтел беспокойно и вертелся во все стороны.

Пройдя темную аллею, приблизились к каменной лавке, устроенной под старым дубом. Граф взглянул на управителя.

— Людей с лопатами! — сказал он отрывисто.

Управитель провел рукою по лбу.

— Ясновельможный пан, незачем, — пробормотал он, заикаясь.

— Что? Как? Почему ваша милость знает, для чего я их требую?

— Сундука нет.

— Как нет! — воскликнул граф. — А почему вы знаете, что он тут был?

— Когда сюда явились австрийцы, — сказал, смешавшись, Мржозовский, — сейчас же стали

искать денег, ломали стены, вынимали полы и, не найдя ничего, отправились копать в сад и нашли.

— Нашли? — повторило несколько голосов.

— Нашли, поделились и увезли с собой.

С необыкновенным хладнокровием обернулся граф к плачущей жене, шепнул ей что-то и пошел назад. Мржозовский побагровел и беспокойным шагом последовал за ними.

Люди побежали, чтобы удостовериться на месте в краже графского сундука. Точно, неподалеку от лавки, была заметна вырытая когда-то яма, хотя, впрочем, она уже немного поросла травой.

— Потеря наша велика, — сказал граф жене, — но мы не всего лишились. Не плачь, милая Аннета, другие больше нас потеряли, а у нас осталось еще столько, что мы можем изгладить следы этого опустошения... *A la guerre comme à la guerre...* Но я подозреваю Мржозовского. Впрочем, это еще откроется. Пойдем теперь во флигель, а завтра займемся делом и приведем все в порядок. Не мучь только себя, моя Аннета, люди нашего звания должны ставить себя выше этих мелочей. Отчаяние удел черни.

В эту минуту из чащи деревьев выскочил оборванный крестьянский мальчик — истощенный, желтый, бледный, весь в лохмотьях, лет семи или восьми. Сшитая из разных лоскутков сермяга едва

прикрывала грудь и бока его, ноги были не обуты, голова не покрыта, а на бледном лице, несмотря на наличие испуга, страдания, следов болезни и глубокой бедности, господствовало выражение неизъяснимой кротости. Серые глаза были полны слез, на узких, сжатых, посинелых губах мелькала принужденная улыбка, улыбка страдальцев. Ребенок был хорош, но печальная красота его была красотой засохших цветов растения, побитого морозом. Лицо прячущегося дитяти поразило графиню и без того уже потрясенную видом опустошения. Мальчик перескочил через дорожку и скрылся в близлежащих кустах.

— Что это за дитя? — спросила пани.

— Пан Мржозовский, что это за ребенок? — повторил граф.

— Это, ясновельможный пан, сирота из здешней деревни. Целая семья вымерла от горячки, он прибегал сюда просить милостыню. Сын Бондарчука, зовут его Остапом.

— Неужели у него нет родных или близких?

— Никого, ясновельможная пани! Родные Бондарчуков первые ушли из деревни и еще не возвращались.

— Как же он существовал?

— Как червячки и птички, ясновельможная пани.

— И даже зимой?

— И зимой.

— И во все последнее время никуда не уходил?

— Нет, постоянно был у замка.

— Но чем же он занимался?

— Не знаю, право. Днем он никогда почти не показывался. По ночам видали его бродящим по пустым хатам и стойлам, кормили его из милости, и я сам видал, как они давали ему вылизывать свои котелки.

— Бедное дитя! — отозвалась грустным голосом графиня. Граф в свою очередь, под бременем тягостной думы, тоже вздохнул, но по другой причине.

Затем настала минута молчания. Мальчик выглядывал на господ из-за кустов, вполовину согнувшись, с выпученными глазами, готовый, по-видимому, броситься в сторону, как дикий зверек.

Приблизившись к тому месту, где он спрятался, графиня стала звать его к себе.

— Поди сюда ко мне, дитя мое, поди!

Мальчик посмотрел на нее.

— Иди же к ясновельможной пани! — закричал Мржозовский, поднимая палку.

Остап при виде этой угрозы хотел было бежать, но, услышав вторичный зов пани, решился выступить вперед, искоса посматривая на

управителя. Тут уже во всем своем величии предстало взорам присутствовавших нищенское положение сироты.

У графини покатались слезы.

— О, — воскликнула она; — нам не должно жаловаться и роптать на судьбу при виде такой нищеты!

— Но это разница, — пробормотал граф, взглянув угрюмо. — Они для этого созданы.

— Муж! Как тебе не стыдно говорить подобные вещи! — прервала Анна.

— Иначе Бог не потерпел бы этого, — хладнокровно dokonчил граф.

Графиня начала расспрашивать мальчика. Ободренный сирота отвечал уже гораздо внятнее.

— Был ли ты здесь в последнее время?

— Был.

— Что же ты видел?

— А что и вы видите... Жгли, ломали...

Вдруг граф как будто пробудился.

— Может, ты видел, как вырыли сундук из-под скамьи, которая стоит над водою?

Мржозовский страшно побледнел.

— Видел, — отвечал мальчик.

— В самом деле! — вскрикнули все. — Видел, как немцы!..

Управитель стоял, как приговоренный к смерти, едва дыша, бледнея и шатаясь.

— Не немцы, — сказал мальчик.

— А кто же?

— Господин управитель с какими-то людьми приходил ночью, выкопал, положил на воз и...

В это мгновение Мржозовский исчез в глубине сада. Люди погнались за ним.

— Может, ты видел, куда они его завезли? — прибавила графиня.

— Как же, я потихоньку пошел за ними. Видно, они боялись везти его далеко, потому что, только в поле выехали, там и выкопали яму под грушей.

— Скорей, скорей, — прервал граф, трясясь, как в лихорадке, — поспешим под грушу! Мальчик, иди с нами!

И через несколько минут граф уже был в поле, с людьми и Остапом. Под старой грушей, несмотря на тщательно прибитый дерн, можно было по едва заметной впадине угадать недавно взрытую землю.

— Здесь, — сказал Остап.

Люди принялись рыть, и, к неопишуемой радости графа, заржавленная крыша сундука скоро застучала под ударами лопат. Добрались и до замка: он был не тронут. Граф, приказав везти в замок отысканное имущество, поспешил уведомить о том жену. Об Остапе же было совершенно забыто, и сирота отправился на луг, где несколько ребят пасли тощее стадо, греясь у едва тлеющего огня.

Может быть, граф, слишком обрадованный своей находкой, и навсегда забыл бы о существовании сироты, но жена напомнила ему о благодарности.

— А тот мальчик? — спросила она его вечером.

— Какой мальчик?

— Сирота, который показал тебе грушу.

— А, правда! Совсем забыл... Надобно бы велеть его накормить.

— Накормить! Только! — сказала графиня. — Ведь кто тебя не знает, может подумать, что ты неблагодарен, бесчувствен, что у тебя каменное сердце.

— Но что же больше могу я для него сделать? — спросил граф.

— Мне кажется, — отвечала жена, — что ты можешь дать ему вольную, прилично воспитать и устроить будущую судьбу его. Мне кажется, что мы даже обязаны все это сделать.

— И в самом деле, ты говоришь правду! Делай, как хочешь!

После этого разговора графиня послала за Остапом, которого едва могли найти в садовой караульной будке.

На другой день, одетый, накормленный, принятый в число дворовых, наш бедняжка совсем ожил.

Год спустя графиня послала его в школу, и таким образом, покинутый сирота мало-помалу становился дельным человеком.

Мржозовский с женою и детьми поехал в Подолию, приняв в управление разоренное имение. Граф никогда более уже о нем не вспоминал.

II

В один из прекрасных весенних дней по берлинскому публичному гулянию под липами, где вечером собирался весь высший круг, между множеством экипажей, народа и верховых, шли спокойно два молодых человека и как бы не обращали никакого внимания на все окружающее.

По светлым волосам, а еще более по характерным чертам лица можно было легко узнать, что в их жилах течет славянская кровь и что они гости и пришельцы среди германского света. Кроме того, заметно было, что молодые люди были разных сословий.

Они сели на лавку в печальном раздумье и равнодушно смотрели на экипажи, пешеходов и всадников, старавшихся отличиться перед щеголеватыми колясками прекрасных дам.

Старший из них, на первый взгляд, обращал внимание на себя благородными, аристократическими чертами лица. Свободная,

веселая и праздная жизнь нескольких поколений, видимо, оставила свой отпечаток на его красивой наружности и осанке: прекрасные черты, глаза большие навывкате, осененные длинными ресницами, нос очень хорошей формы, лоб высокий, руки маленькие, ноги крошечные, как у женщины. Но во всем его существе легко заметны были усталость, изнурение и миниатюрность: недоставало силы, энергии. Жизнь не волновалась в его жилах, а текла тихо, медленно, вяло. Черные лоснящиеся волосы стали уже так редки на висках, что лоб его казался очень большим, цвет лица поблек, щеки были бледны, матовы. Опершись на трость, со сложенными накрест руками, он поглядывал на все с какой-то презирующей задумчивостью и как будто ничего не видел перед собой.

Товарищ его, сидевший с ним рядом, широкоплечий, высокий, белый, румяный, как дуб, выросший на хорошей почве, был блондин, с голубыми глазами и свежим, здоровым цветом лица. Взор его был тоже грустен, но что-то говорил. Скинутая шляпа, развевающиеся волосы, сдернутая перчатка, согнутая трость в сильной руке — все доказывало в нем страшную внутреннюю борьбу. В его глазах, озиравших гулянье, в его чертах лица ясно отражалось каждое впечатление.

Трудно было объяснить по первому взгляду,

что соединяло столь, по-видимому, противоположных друг другу людей. Неравенство их во всем проглядывало, даже в одежде и осанке.

Первый из них держал в руках тонкий батистовый платочек, на тоненькой венецианской цепочке висел золотой портрет очень хорошей работы, трость с весьма щегольским резным набалдашником взята была в Париже у знаменитого Верье, платье и белье были роскошны и изящны, но просты.

Другой же, напротив, небогатый своим одеянием, напоминал буржуа. Довольно грубая, хотя снежной белизны рубашка мешковато пробивалась из-под черного неловко затянутого камзола, галстук был очень небрежно повязан вокруг жилистой и мускулистой шеи, руки, из которых одна была без перчатки, не носили на себе следов того нежного попечения, которое прилагают о них люди высшего круга, это были руки сильные, красивые, но большие, одним словом, руки труженика, с мозолями и поцарапанными пальцами. Когда первый согнулся и оперся на трость, другой придвинулся затылком к дереву, взоры их, казалось, избегали встречи. Глубокое, долгое молчание продолжалось около получаса. Наконец первый сказал с усмешкой товарищу:

— Евстафий, о чем ты думаешь? Не сердись ли ты?

Евстафий, окинув быстрым взором вопрошавшего, отвечал со вздохом и горькой улыбкой:

— А, пан граф, можно ли так шутить? Могли ли я сердиться?

— Ты снова предаешься своей дурной привычке?

— Быть может, пан граф.

Слово это «пан граф» выговорено было с таким ударением, что уже очевидно становилось колкостью и даже насмешкой.

— Ах, милый Евстафий, оставь в покое мой титул! — сказал граф хладнокровно. — Знаю очень хорошо, что значит это в твоих устах.

— Оно означает только выражение почтения, которое я к вам питаю.

— Ну нет, милый Евстафий, меня ведь не легко вывести из терпения, дай мне руку и заключим мировую.

Проговорив эти слова, граф протянул свою руку Евстафию, но тот, подавая свою, медленно и низко кланяясь, произнес:

— Может ли пан дотрагиваться до руки такого простого человека, как я?

— Опять колкость и шутки! Неужели ты все еще не можешь простить мне нескольких слов, сказанных безрассудно, опрометчиво, но которые, к сожалению, так глубоко уязвили тебя. Клянусь

тебе, это в последний раз, и прошу вторично прощения. Постараюсь быть постоянно осторожным и не говорить тебе всего, что у меня на душе, чтобы опять какое-нибудь свободное, приятельское доверие не оскорбило тебя чем-нибудь. Зная меня хорошо, ты знаешь также, что я нисколько не разделяю мнения, по которому одному классу людей отдается все, а другому — ничего. Извини же!.. Ведь только одно слово.

— А это одно слово очень оскорбительно! — вздохнув, отвечал Евстафий.

— Но забудь же о нем! Ведь я же не вспоминаю того, что ты мне на него ответил, хотя имел бы тоже полное право сердиться за твой ответ. Право, помиримся, милый Евстафий!

Наконец последний взглянул на него полными слез глазами, подал ему руку и сказал:

— Могу ли я и в самом деле сердиться! Я тебе так много обязан! Твоим же старанием выведенный из пределов моего звания, мог ли я забыть хоть на минуту, какая преграда нас разделяет! Напрасно и напрасно хотели бы мы сблизиться, одно слово разъединяет нас. Извини же меня, и да будет мир и конец всему.

Евстафий тяжело вздохнул, посмотрев на Альфреда, который окинул его холодным, но кротким взором.

— Сядь, — сказал Альфред, — сядь,

успокойся, не сердись, и не будем более об этом говорить.

— Не говорить — невозможно! Одно слово мне все напомнило, а скорое возвращение на родину мучит меня. Постоянно слышится мне голос, который, как бы из глубины души, вызывает ко мне, напоминая мне, кто я такой.

— Мой приятель.

— Ваш крепостной.

— Мой милый, оставь же ты меня в покое!

— Ах, граф Альфред, сердце мое тянет меня туда, а между тем все как будто опасаясь, дрожишь, томишься. Многим я вам обязан, но многое же и терплю по вашей милости. Зачем вы взяли меня — сироту и вывели из моего положения?

— Понимаю тебя, милый Евстафий, но ничего нет легче, как отречься совершенно от происхождения, которое так жестоко тебя огорчает. Тысяча людей вышли из твоего положения и стали в ряд порядочных людей.

— Мне! — загремел громовым голосом Евстафий так, что проходивший в эту минуту немец отшатнулся в сторону и выбралил его порядком. — Мне отречься от моего происхождения! Я солгу! Я вотрюсь туда, где не мое место! Присвою себе то, что не мое, тогда как я горжусь моим происхождением. Я за одно только воспоминание о

трудолюбивых поселянах, которым я обязан жизнью, не взял бы вашего графского достоинства!

— Но зачем же ты жалуешься? — спросил Альфред.

— Потому что страдаю.

— Отчего страдаешь?

— Потому что я пария между вами. Ни воспитание, ни талант (если б я даже имел его), ничто в свете не заменит для вас происхождения. Взгляни на мое положение между вами, и ты поймешь, что меня ожидает. Возвратиться же к своим, как бы я хотел, мне невозможно. Понятия, чувства, все отделяет нас друг от друга, а предрассудок, или как ты там себе хочешь назови, отдаляет меня от вас, и остаюсь я один, отверженный от всех...

— Мог бы не возвращаться на родину.

— О, это только легко выговорить, милый Альфред, — сказал, прослезясь, Евстафий. — Вам, панам, всюду открыт и мил свет, меня же привлекает моя земля, наша деревня, старая, обвалившаяся хата, сельское кладбище, все! Но и кроме того, я обязан возвратиться на родину: этого желает твой дядя, а он мой благодетель!

Альфред думал и молчал, встав с лавки, они отправились далее, следуя медленно по липовой аллее. Под старыми дубами зверинца они снова остановились, взглянув друг на друга.

— Знаешь ли, Евстафий, что старые эти дубы напоминают мне мои леса над Смыровой, мой край, скоро там будем.

— И это тебя радует?

— Радует ли? Не знаю, как сказать. Сердце бьется, но почему, не могу дать себе отчета. А ты?

— Радуюсь, грущу и боюсь, все разом.

— Боишься, чего?

— Неужели тебе надобно это объяснять?

Альфред пожал ему руку с участием.

— Но я буду с тобой.

— О, еще бы и ты оставил меня! Если бы не грустная моя привязанность к моему краю, не знаю, возвратился ли бы я, не знаю, принудил ли бы я себя к такой смелости. Мое положение...

— Ты вечно возвращаешься к этому грустному вопросу.

— Должен думать об этом.

— Почему же?

— Потому что я родился не барином.

— Напрасно ты так думаешь заранее.

— Нет, милый Альфред, в нашем краю это уже общее явление: шляхтич только считается человеком, остальное же не имеет этого названия. Не шляхтич старается корчить его, вкрасься в дворянское достоинство, чтобы получить герб и позаимствовать хотя каплю рыцарской крови.

— Сделай же и ты так.

— Ради Бога, не повторяй этого. Я горжусь моим происхождением. Был, есть и буду крестьянином, сын крестьянина и ничего более. Рассуди же теперь, что может произойти от неравенства моего положения и происхождения.

— Что же может быть? — сказал Альфред, сгибая с нетерпением палку в руке. — Я ничего не предвижу, не делаю напрасных предположений. Воспитание дает тебе вход всюду.

— Где встретит меня унижение?

— Не понимаю, почему?

— Пусть унижат меня при входе, лишь бы учтив был бы прием, но я уже нигде не встречу братства, равенства, связи. Холодная учтивость, обидная и льстивая.

— Опять!

Альфред пожал плечами и спросил:

— Что я — аристократ или нет?

— Ты?

— Да, посмотри на меня хорошенько и ответь мне искренно.

— По многому да, по многому нет.

— Вот сам же ты говоришь, что по многому я могу смело назваться аристократом, — усмехаясь, прибавил Альфред. — И все-таки, несмотря на это, я остаюсь твоим приятелем и братом.

— О, ты исключение в этом случае!

— Евстафий, напрасно ты предаешься

опасным мечтам, подожди сперва доказательств, а заранее себя не тревожь. Вижу, что не могу тебя успокоить, а хуже только дразню. Я вовсе не исключение, а совершенно принадлежу весь обществу, порядочно постигаю вещи и мог бы уверенно тебе их объяснить.

— Дай-то Бог. Я выше всего, милый Альфред, ценю твою приязнь и знаю, что это для меня первый и, конечно, последний союз такого рода. Постараюсь твердо стать на своем месте, перенести все и в себе самом найти все. Назначение мое: помогать, утешать, лечить братьев моих, прочее же предоставляю судьбе и Богу.

Проговорив это, он встал растроганный и разгоряченный, видно было, что он не высказал всего еще, что у него было на душе. Альфред не говорил с ним более, наступал вечер, и они направились к городу, к своей квартире.

По дороге присоединились к ним старые университетские их товарищи без студенческих атрибутов, изрядно одетые, веселые, упоенные жизнью, как все те, которые стоят еще на пороге жизни с необманутыми надеждами. Разговор начался общий, беспечный и веселый. Всякий высказал свои предположения о будущем, нетерпеливые планы, жаркие грезы. Один Евстафий шел с поникшей головой, по чувству деликатности никто не вызывал его присоединиться к этому

шумному хору. Альфред отвечал умеренно, умно и учтиво, шутя над окружающими, но не проговаривался ни о чем, что сам думал.

Альфред был прекрасного рода и наследник хорошего имения. Но у нас чаще чем где-нибудь случается, что богатые бары излишними расходами доводят себя до недостатка и нищеты. Гордые славным именем своих предков, они не умеют в упадке своем примириться со своим положением и умно вынести последствия нищеты. Без привычки к труду, бережливости и без умения найтись в затруднительных обстоятельствах, они становятся самыми несчастными людьми, осужденными на тягостную ложь. Жизнь их делается жалкой комедией, которая часто оканчивается трагедией. Желая казаться богатыми, счастливыми, покойными, они корчат бар, проживают последнее и внутренне страшно терзаются ожиданием завтрашнего дня. Таково было положение и родителей Альфреда. Отец его, получив расстроенное состояние и обманувшись в расчетах в женитьбе, никогда не имел довольно смелости, чтобы уверить себя в своей бедности и поэтому оставил сыну только имя и совершенно уже разоренное имение, которым едва ли можно было успокоить должников.

Отец Альфреда и граф, о котором было упомянуто в начале этой повести, были родные

братья. Умиравший отец Альфреда поручил сына брату, а у смертного одра данное слово обещало Альфреду прекрасную будущность. Дядя Альфреда имел дочь, и легко можно понять, что братья взаимно обещали друг другу.

Дядя принял в свое распоряжение имение, воспитал Альфреда с полным старанием, какое только мог оказать. Это воспитание ограничивалось приличным обучением французскому языку, музыке, танцам, потом отправлением в Берлинский университет, куда, впрочем, Альфред отправился скорее по собственному желанию, чем по распоряжению дяди. Дядя принял эту поездку за вояж, в котором племянник мог из Берлина легко объехать Швейцарию, Францию и Англию. А так как вояж считался окончательным во всем усовершенствовании для людей высшего круга и был необходимостью, то дядя говорил всем, что Альфред вояжирует, но не признавался, что он учится в университете. К счастью, Альфред, поняв заблаговременно свое положение, чувствовал, что ему нужна наука и труд в будущем, а потому горячо принялся за работу, приучал себя заранее к умеренности и лишениям, потихоньку учился одному не совсем опрятному ремеслу и вместе с Евстафием ходил слушать лекции медицины, за что и получил степень доктора. Несмотря на все это, Альфред наружно все-таки оставался барином в

полном смысле этого слова: одежда его, обхождение, наклонности были совершенно барские, он любил удовольствия чисто аристократические, был охотник до лошадей, до охоты, до роскоши и окружал себя всем изысканным. В нем заключалось два существа, готовых идти по разным путям, судя по тому, который судьба предназначит. Он готов был идти по следам предков, а вместе с тем и следовать по тернистому пути людей, добивающихся всего трудом.

Подготовленный таким образом ко всему, Альфред по выходе из университета, вступил в свет, смело заглядывая в будущее. Евстафий жил сердцем, чувством и был открыт, молодой паныч, напротив, был скрытен, холодно на все смотрел и был рассудителен в каждом деле. Они действовали с равным мужеством, но совершенно различно. Первый бросался на все, как лев, не соображая препятствий, с которыми должен был бороться, другой же рассчитывал, думал, боролся и отходил прочь. Сердце Евстафия было на ладони, по выражению французов, а Альфреда — в голове. Одного узнать можно было в полчаса, другого же трудно было изучить в полгода.

Наука имеет сильное влияние на человека — Альфред был тому примером. Новые теории, новые понятия о свете, почерпнутые из лекций,

совершенно переродили его. Детские впечатления исчезли, подавленные новыми понятиями, глубоко врезавшимися в душу. Следствием их была потеря веры в дворянство, как главное условие, по понятию его предков, для названия человека, — в дворянство, которое себе все извиняло, пользуясь исключительной привилегией на все.

Альфред не мог не верить тому, что люди все равны, все дети одного Отца Небесного и что одно существо отличалось от другого только индивидуально, но он не верил, чтобы один род людей был шляхтичи, а целый другой что-то иное, недостойное быть первым. Гений, заслуга определяли для него достоинство дворянства, род был только приготовлением, помощником для приобретения дворянства.

Можно родиться шляхтичем и можно им сделаться, и из крестьянина может выйти шляхтич, а из шляхтича слабое, негодное существо. Словом, только гений, заслуга перед обществом, человечеством делают человека аристократом, то есть лучшим, высшим, избранным, а гений не всегда наследствен!

Однако, из какого-то странного стыда Альфред не высказывал этого убеждения, а глубоко хранил его в себе. Часто бываем мы лучше, чем кажемся на вид. Трудно избавиться от старых впечатлений, еще труднее сознаться, что мы им

изменили. Один Евстафий, безотлучный товарищ Альфреда, знал, что было у него на душе.

Только друг другу поверяли они тайные свои мысли. Приязнь их имела ту редкую силу, которая, производя на деле в обоих одинаковые впечатления, по наружности носила отпечаток различия их характеров.

Два различных мнения об одном предмете дополнялись ими обоими и составляли целое. Может быть, сама судьба содействовала этому, поставив их на двух разных ступенях общности, разделив их положением и внушив понятия, совершенно сходные в основании.

Дружба их была крепким союзом, мимолетные недоразумения кончались всегда скорым и желанным для обоих согласием.

Альфред, холодный для всех, для товарища своего был совершенно братом. На этой дружбе основывал Евстафий лучшую для себя будущность, томимый непрерывно мыслью о возвращении на родину и о том, что может с ним случиться в свете, он прибегал к этой приязни, как к единственному в будущем спасению.

III

Дом, разоренный и разграбленный в начале этой повести, представляется нам теперь новым, с

блестящей железной крышей, оштукатуренный, окруженный зеленью и возбуждающий веселое настроение своей наружностью.

Деревня же находится в точно том же положении, как была после войны. Некоторые хаты подперты, иные еще ниже упали, иные присунуты к обгорелым столбам: одним словом, стоят, как стояли, в том же виде и порядке. Только заборы были целы, и огороды засеяны, движения казалось более, потому что прежде совсем его не было. Постоялый двор отличается своими яркими желтыми стенами, около него стоит огромный почтовый дом, окруженный конюшнями и затворенным двором.

На плотине шумит каменная водяная мельница, и виднеется дом мельника. Вдали зеленеют луга, покрытые разными цветами, обширные поля с белеющей гречихой и желтеющим житом.

Барский дом, обнесенный черной решеткой с каменными столбами, оканчивался красивыми воротами из плитника. Посреди двора расстилалась зеленая мурава, на которой расставлены были белые вазы и разбиты клумбы цветов.

За домом был сад, состоящий из старых деревьев, прорезанный протекавшей через него чистой речкой.

В доме царствовала тишина, на часах в

столовой пробило девять, слуга во фраке внес на серебряном подносе завтрак в большую гостиную. Большой круглый стол накрыт был к завтраку à l'anglaise. Кофе, чай, ветчина, яйца, хлеб и разные печенья расставлены были на великолепных фарфоровых тарелках около серебряного самовара.

За столом, однако, никого еще не было. Камердинер в черном фраке, в белых перчатках отдавал приказания лакеям, передвигал тарелки и, озабоченный своим делом, готовился доложить, что все уже подано.

Вдруг двери с левой стороны с шумом отворились, и в дверях показался седой, старый, но еще свежий мужчина.

Можно было легко узнать хозяина дома по входу и по виду его. С коротко остриженными волосами, среднего роста и не очень полный, граф мог служить точным типом наших панов. Прекрасные черты лица его несколько портились мрачным и угрюмым выражением, высокий лоб был прорезан морщинами вдоль и поперек. Серые, поблекшие глаза бросали взоры смелые, неустрашимые. Молчаливые уста были надменно сжаты. Лицо, слегка румяное и окруженное седыми и коротко остриженными бакенбардами, ничем особенно не отличалось, но, всмотревшись, на нем можно было прочесть выражение самодовольства и необыкновенной гордости. Утренний туалет графа

состоял из тафтяного сюртучка, таких же панталон, желтых сапожков и ермолки, покрывавшей лысину. В руке держал он номер французской газеты.

Посмотрев молча вокруг себя, он знаком приказал камердинеру, стоявшему смиренно у других дверей, позвать дочь. Лакеи были все у дверей, а граф, пройдясь по комнате и взглянув мимоходом в сад, занял место перед столом на диване.

Двери снова отворились, и хорошенькая молодая панночка в белом пеньюаре и большой косынке, небрежно наброшенной, вошла с улыбкой.

Это была дочь графа, панна Михалина, по обыкновению называемая Мизя. Высокая, стройная, ловкая, с благородными манерами, веселой наружностью, брюнетка, но белая и свежая, как блондинка, с черными быстрыми глазами, живая и резвая, как избалованное дитя, — она небрежно поздоровалась с отцом, который заботливо расспрашивал ее о здоровье, потом сбросила косынку, поправила прекрасные волосы и уселась в приготовленное кресло.

Разговор отца и дочери начался, по общему обычаю, по-французски. Отец, наклоняясь к ней и целуя ее руку, спросил ее тихо:

— Здорова ли ты, Мизя?

— О, здоровехонька.

— А вчерашняя головная боль?

— Проходит у меня всегда сном.

— Хорошо спала?

— Как сурок. Встала, однако, очень рано, ходила в сад взглянуть на мои цветы, ездила немного верхом.

— Так рано?

— А тем приятнее.

— Одна?

— Был кто-то со мной, но, право, не заметила, кто именно. Что тебе дать, папа? Чего прежде?

— Сегодня кофе, Мизя.

— По-старопольски?

— Так, так.

Граф тяжело вздохнул. Налив чашку кофе из серебряного кофейника, стоявшего на конфорке, Мизя подала ее отцу. Сама же, взглянув на завтрак, стала наливать чай. Потом, как бы вспомнив что-то, обратилась живо к камердинеру:

— А пани Дерош?

— Докладывал, — отвечал старик с поклоном.

И действительно, в ту же минуту главные двери гостиной отворились, и вошла третья особа. Высокого роста, худая, с ног до головы одетая в черное, явилась пани Дерош. Она была теперь компаньонкой Мизи, а прежде ее гувернанткой, женщина уже немолодая, но на лице которой видны были еще следы неизгладимой красоты. Белая, как мрамор, с глазами, полными огня, только уже

впалыми, с маленьким ртом, худыми щеками, важная, суровая, строгая — она имела в себе что-то удивительно привлекающее. Наружность ее так же интересовала, как наружность какого-нибудь таинственного лица.

Мизя, улыбаясь, попросила ее сесть около нее, а граф, привстав с дивана, очень учтиво поздоровался с ней и снова уселся, извиняясь, что явился к завтраку в таком утреннем туалете.

Она простым наклоном головы отвечала на это извинение, которое могла счесть и за неучтивость, а потому сделала вид, будто не замечает туалета графа.

Несколько минут прошли во взаимно холодных восклицаниях. Наконец, Мизя начала много болтать и смеяться.

— А, а! Я забыла спросить тебя, папа: ты должен был получить известие от Альфреда, когда же он воротится?

Граф, взглянув на нее без выражения и холодно, отвечал:

— Вчера я получил письмо, что он уже в дороге.

— Почему же ты мне сейчас же этого не сказал?

— Что же тут важного, милая Мизя?

— Надеюсь, Альфред мне брат! Столько лет не видались, а ты еще спрашиваешь, что тут

важного? Право, папа, ты удивляешь меня... И, наконец, он будущий жених мой, не правда ли?

И она начала смеяться, глядя в глаза отцу. Граф нахмурился, а пани Дерош устремила украдкой на него испытующий взор.

— Не отвечаешь, папа! — повторила Мизя, смеясь. — Стыдишься?

— Что мне тебе отвечать, моя милая, — с принужденным смехом сказал граф. — Скоро приедет Альфред.

— Но где же его письмо? Почему же ты мне его не показал?

— Ничего там нет любопытного, — сухо отвечал отец.

— Для тебя нет, а для меня, может быть, есть. Где оно? Я хочу его непременно прочесть. Я женщина, я любопытна. В твоём кабинете? — спросила она, приподнимаясь.

— После сыщу.

— Ни я хочу сейчас, папа, я хочу!

— О, избалованное дитячко!

— Сам избаловал меня, так и сноси все теперь и слушайся твою Мизию. Итак, где письмо?

— В моей комнате, — сказал отец.

Мизя быстро вскочила и побежала.

Граф сказал с улыбкой, обращаясь к пани Дерош:

— Что за беспокойное создание!

— Это ангел! — отвечала француженка.

— Горячий ангелочек. Но тем лучше, будет с характером.

Мизя возвратилась с торжественным видом и с письмом в руке, которое уже, идя, пробегала глазами с большим вниманием.

— Не прощу тебе никогда, папа, никогда, что ты не сказал мне сейчас же о письме, не дал мне его сейчас же! Письмо такое интересное, такое любопытное...

— Но ведь ты получила его?

Она погрозила отцу.

— Увидишь, папа, что я тебе сделаю!

— Например?

— Все твои планы разрушу, не захочу идти за Альфреда и...

Тут она нагнулась к уху графа, шепча:

— Выйду замуж, как пани Д...

Отец сделал вид, как будто смеется, но вспыхнул:

— Делай, душка, как хочешь. Ты знаешь, как я люблю тебя и ни в чем не могу тебе противиться! Напрасно ты уверяешь меня, что у меня есть какие-то планы, я никогда их не имел.

— Превосходно. Так ты отрекаешься?

— Ничего не знаю.

— Ты не думал об Альфреде для меня?

— Нет, — с неудовольствием сказал граф.

— Я припомню эти слова.

Во время этого разговора отец был явно чем-то встревожен. Мизя с любопытством дочитывала письмо Альфреда.

— Если он такой холодный педант и церемонный учтивец, каким я представляю его себе по письму, — вскричала Мизя, свернув и бросая письмо, — то из твоих предположений, папа, ничего не выйдет! — Потом она снова схватила письмо и с новым вниманием пробежала его.

— И ничего определенного не пишет мне о моем protégé!

— О ком? — угрюмо спросил граф, хотя знал хорошо.

— Как, о ком! А о дорожном товарище!

— О товарище! — сказал отец. — Я не знаю ни о каком товарище, кроме слуг, — продолжил граф с принуждением.

— Ты считаешь в числе их и пана Евстафия?

— И Остатку, — добавил граф.

— Папа, милый папа, не делай мне неприятности.

— Не понимаю тебя.

— У тебя много старых предрассудков.

Граф презрительно пожал плечами.

— Без шуток, — сказала Мизя, пробегая письмо. — Альфред ничего о нем не пишет.

— Что же он мог написать?

— А, как я любопытна, как любопытна! Будет по крайней мере одно существо необыкновенное в нашем обществе, новое, оригинальное.

— В нашем обществе! — подхватил граф с гневом.

Мизя, как бы не замечая этого, закончила:

— Что-то эксцентрическое, необычайное: сирота, мальчик, воспитанный и поставленный иначе, чем обыкновенно.

— О, ради Бога, довольно, я не могу долее выдержать! — воскликнул отец. — Что тут удивительного! Что тут эксцентричного! Сирота, мужик, из которого я сделаю лекаря в моих поместьях.

— Альфред, пишет, что он доктор.

— Это все равно, — хладнокровно добавил граф, — доктор, цирюльник, — дам несколько сот злотых и баста! О чем тут так много говорить.

Мизя посмотрела на отца.

— Ты это искренно говоришь? Но не решай ничего, пока его не увидишь. Может быть, он и не похож на цирюльника, и в таком случае...

— Будет, чем я ему прикажу быть, — сказал граф.

— Увидим. Что же до меня касается, папа, то я чрезвычайно желала бы найти в нем что-нибудь оригинальное, необыкновенное. Мы все, милый папа, не исключая ни меня, ни тебя, ни тех, которые

нас окружают, обыкновенные, уже известные люди, мне скучно, что наше общество так однообразно, холодно.

Граф усмехнулся, взглянув на молчавшую пани Дерош.

— Поблагодаримте за комплимент, — сказал он.

— О, это только суцая правда, — поспешно добавила Мизя.

— Так ты находишь нас скучными?

— Это мне не мешает любить вас, но прежде всего — и это правда, папа, ваше общество походит на гладкие садовые дорожки — очень удобные, хорошие, но однообразием своим чрезвычайно скучные.

— Ты хотела бы что-нибудь больше?

— Зеленую мураву, твердый камень, узенькую тропинку, что-нибудь новое.

— Восторженная голова! — сказал граф.

Мизя нагнулась к отцу и сказала умильно:

— Что же делать! Не могу быть иначе. Люби меня такой, какова я есть.

— Большая задача!

— Легко разрешаемая, ты меня слишком нежил, оттого я и стала так самовольна, так шаловлива — *si vous voulez*.

— *C'est le mot*, — сказал граф.

— Да, но какая я теперь, такая всегда буду, не

правда ли, пани?

— Боюсь этого, — тихо отозвалась пани Дерош.

— Почему же боишься?

Француженка замолчала и задумалась.

— Совершенный сфинкс, моя милая Дерош, вся в загадках!

— Желаю, чтобы это для тебя и осталось загадкой.

— Надеюсь, что это не сбудется.

Проговорив эти слова, Мизя улыбнулась, показав два ряда белых зубов, и приказала камердинеру убирать завтрак. Граф углубился в газеты, которые, по-видимому, сильно его занимали. Мизя встала и растворила стеклянные двери, ведущие на балкон.

— Еще не жарко, — отозвалась она, вдыхая в себя воздух, — *madame Des Roches, voulez vous faire un tour au jardin?*¹

— *Volontiers.*

Графу подали в это время трубку с турецким табаком. Обе дамы вышли свободно, но строгий наблюдатель физиономий сейчас же увидел бы, как изменилось выражение лица Михалины. Едва только она отошла от отца и осталась с глазу на

¹ Хотите пройтись по саду? (фр.).

глаз с пани Дерош, то сделалась гораздо серьезнее (не теряя, однако же, своей миловидности) и, обратясь к своей компаньонке, сказала:

— Неужели нельзя уже обратить моего отца, милая Софья! Каждый день все то же самое и каждый день напрасно! Скажи мне, всякое ли убеждение так глубоко вкореняется и разрастается в человеке, что его потом ничем уже нельзя вырвать?

— Ты употребила превосходное выражение, — отвечала француженка, — убеждение можно уподобить растению, которое посеваётся и вкореняется и которое уничтожить невозможно. Но не будем этому удивляться: молодость, долгая жизнь, общество людей одних с ним понятий, сделали отца таким, каков он есть.

— Обратить его должно!

— Невозможно.

— Грустно уверять себя в этом! Такой благородный, такой добрый человек, такое золотое сердце!

— Может ли быть иначе! Он родился, воспитался, состарился в своем убеждении. А все, что он видит, что окружает его, утверждает его в этом убеждении.

— Знаешь, милая моя Дерош, я ужасно боюсь приезда Альфреда, желаю его и боюсь. Что-то говорит мне, что он не сойдется мыслями с папа. Из

этого произойдут недоразумения, неудовольствия, а тут вдобавок и тот еще, кому я протезирую.

— Как тот, которому ты протезируешь! Разве ты его знаешь?

— Да, я очень хорошо его помню, моя добрая мама мне его поручила! Пускай они скорее приедут, по крайней мере, у нас жизни будет больше, будет о чем говорить, думать, хлопотать, хоть бы даже изредка и ссориться. Я умираю с тоски.

— С нами, Мизя?

— Хоть с вами, наша деревня смертельна скучна, моя Софья, мы не умеем жить в деревне.

— Может, это и правда.

— А наше деревенское общество?

— Правда, что скучно.

— И все правда, моя дорогая, что говорю я, вы ведь только скрываете, а на самом деле сознаете все это. Я убеждена, что папа, что ты, что все так же великолепно скучают, как и я. Папа в особенности, де-Пнуд давно уже выводит его из терпения, но только он не хочет в этом сознаться, живет он только своими газетами, которые для меня наискучнейшее развлечение. *Vous n'êtes pas légitimiste,*² m'me Des Roches?

² Вы не легитимистка? (фр.).

В это время показался граф.

Мизя обернулась, но не сконфузилась.

— А, папа, ты подслушиваешь нас? Это нехорошо!

Старик между тем держал письмо в руке, и лицо его выражало сильное беспокойство.

— Что это за письмо? — спросила Мизя.

— Из Скалы.

— Альфред приехал?

— Приехал. Без толку, прямо к себе, вместо того, чтобы приехать прямо ко мне. Сегодня вечером будет здесь.

— А, это прекрасно! Чудесно! Я невыразимо рада! Дай же мне расцеловать тебя, папа.

— Постой, Мизя, дай сказать слово и не целуй меня заранее, потому что то, что я имею тебе сказать, не стоит верно поцелуя.

— А что же такое?

Граф принял серьезный и торжественный вид.

— Ma chère, прошу тебя об одной вещи и требую, si vous, voulez.

— Требую! Папа, что за слово?

— Не отступлю от него! — сказал серьезно граф.

Мизя посмотрела ему в глаза, скрыла улыбку и, нахмурясь, нетерпеливо отвечала:

— Слушаю.

— Прежде мать твоя, потом ты взяли на себя

покровительствовать сироте, теперь я хочу один им распоряжаться. Предупреждаю тебя еще, милая Мизя, что хочу быть господином у себя, прошу, чтобы ты ни в какие мои распоряжения не вмешивалась. Мои действия должны быть приказом для окружающих, и по ним уже они должны знать, как быть и поступать им.

— Слушаю, но не понимаю тебя, папа.

— А мне кажется, что это очень легко.

— Легко понять, но трудно растолковать себе, для чего, милый папа, ты хочешь лишить меня приятной возможности услужить ближнему. Буду послушна, не буду ни во что вмешиваться.

Сказав это, Мизя повернулась и скорыми шагами пошла по аллее. Граф остался один, смущенный, с письмом в руках. Каждый раз, когда дочь расставалась с ним таким образом, его всегда мучило дурное расположение ее духа. Тревожась этим, он всегда кончал тем, что уступал ей. Но теперь он хотел употребить всю свою власть и в то же время предвидел, что останется, как обыкновенно, побежденным. С другой стороны, он чувствовал какое-то отвращение, какую-то ненависть к этому сироте. Данное ему первоначально воспитание страшно бесило графа, сто раз хотел он поставить этого ребенка в первобытное состояние, противился всегда выезду Евстафия с Альфредом за границу. Но в то время

еще жива была его жена, которая убедила его согласиться на эту поездку. Теперь, когда сирота должен был возвратиться, граф испытывал какое-то беспокойство и готовился к этому возвращению, как к страшной борьбе. Всякий день он повторял себе: «Из этого добра не будет, я отогрел змею и в этом убежден, нет примера, чтобы из мужика вышло что-нибудь хорошее: выйдет завистливое, ненавистное, подлое создание». Вести об успехах Евстафия в науке сердили графа. «Тем хуже, — говорил он сам себе, — тем опаснее: он должен иметь злое сердце, а при умной голове это далеко поведет».

Граф воображал себе неприятеля в Евстафии, чувствовал, что ненавидит его и что ненависть почти всегда вознаграждается ненавистью же и отвращением. Он от него не ожидал ничего хорошего.

«Кровь, — говорил он сам себе, — хорошая кровь, хорошая порода — вот порука за все хорошее. Нет, надо его в руках держать, не спускать с глаз. Кто знает, что делается в его голове! Что думаешь, того переменить нельзя, но должно направить». Конечно, все эти опасения графа ни на чем положительно не основывались, но иногда человек из фанатизма, из предубеждения или Бог знает почему чувствует какое-то болезненное отвращение к другому человеку, ему

еще неизвестному, и разжигает чувства свои до такой степени, что воображаемое принимает уже наконец за действительное.

Во время пребывания Альфреда за границей от него приходило много писем. Графа не столько тревожил племянник, как воспитанник, граф все ждал чего-то неприятного от него, хотел, наконец, придрататься к чему-нибудь, чтобы иметь право приказать им возвратиться домой. Но напрасно.

«Для чего этому Остапу вояжировать! Альфред совсем без головы! Избалует его и отдаст мне его потом, так что я и знать не буду, что мне с ним делать, ни на что не будет годен. Ах, опасно! Бог знает, может еще быть домашним шпионом». Должно сознаться, что страх и беспокойство графа оправдывались примерами поучившихся мужиков, которые, бившись как птицы в клетке в своем положении, лишённые свободы, доходили с отчаяния до преступлений. Чем ближе приближалась минута возвращения путешественников, тем более возрастало беспокойство графа, оно удвоилось еще и от другой причины. Эгоистическим преследованием исключительно только своего личного обогащения, без обращения внимания на состояние своих подвластных, которые гибли от введенного порядка и от жестокого обращения, граф увеличил свои доходы и улучшил свое состояние. При таких